

чисто женственной деликатностью. Но в партии он был чужой — с метущей мыслью, с невысказанными сомнениями, со смутной тягой к какому-то своему социализму, в котором Маркс дополнялся бы Ницше, и исторический материализм сплетался бы с утонченным эстетизмом.

У меня установилась с ним тесная дружба.

Из других с.-д. сидевших в 12-ой камере, помню: старого «романовца» Хацкелевича; студента-естественника Цукерина (Михаила), состоявшего у нас камерным старостой; рабочего Маркова, энтузиаста и фантазера, мечтавшего о том, что при социализме не будет ни городов, ни деревень, а все будут жить в автомобилях, разъезжая по свету и останавливаясь там, где приглянется.

Припоминаю еще: Виктора Палерно, вскоре освобожденного и уехавшего в Америку; рабочего Колесникова, убитого 29-го апреля; приказчика Жедыка, игравшего роль заботливой няньки при Каффи и отчасти при мне; ротного фельдшера Дувина.

Среди эсэров наиболее заметную фигуру представлял рабочий Ветвицкий, серьезный, молчаливый, с манерами, преисполненными достоинства и внутренней силы.

Анархисты вначале держались особняком, отчужденно от социалистов, но позже у нас наладились дружественные отношения с ними. Это была пестрая, разнородная группа, но преобладали в ней анархисты-коммунисты, связанные с заграничным журналом «Буревестник». Наружность одного из них, с первого взгляда, поразила меня: волнистые волосы темно каштанового цвета; бледное, обрамленное бороздой лицо, ласковые глаза, — голова Христа. Его партийная кличка была «Павел», арестован он был под именем Абрамчука, и лишь после, перед казнью, открылась его настоящая фамилия Хазанов.

Это был рабочий самоучка и подлинный революционер духа. До 1906 года он работал в партии социалистов-революционеров, затем увлекся идеями Соколова («Медведя»), ушел к максималистам, а от максималистов перешел к

анархистам, так как решил, что «анархизм справедливее». Он благоговел перед Львом Толстым, интересовался Штирнером и Себастьяном Формом. А сам жил среди революционных выстрелов и взрывов, среди террористических актов, экспроприаций, отстрелов, и через убийства и кровь шел к неизбежному концу, к виселице.

Днем в камере было шумно, не было возможности сосредоточиться над книгой. Я читал по ночам, у тусклой лампы. Порой подсаживался к лампе и Павел. Между нами завязывалась беседа. Иногда он расспрашивал меня о государственном строе западно-европейских государств и, слушая, раздумчиво повторял: «Лучше, чем у нас, а плохо. За это бороться и умирать не стоит». Но чаще он рассказывал, а я слушал.

Медленно, останавливаясь, чтобы припомнить, как было дело, рассказывал Хазанов различные эпизоды из своей бурной жизни...

Этот человек с незлобивой и нежной душой был сторонником «безмотивного» террора.

«Лучшие анархисты, говорил он, это Христос и Лев Толстой. Их путь — самый верный. Но если этот путь закрыт, — приходится братья за оружие, то убивай, как молния, а не как палач! Направляй удар не против человека, — ибо человека судить ты не можешь, — а против класса».

Он горячо защищал устроенные в Одессе анархистами террористические акты против буржуазии (в гостинице «Бристоль» и в кафе Либермана).

Слушая его, я думал о безумной, замутившейся в кровавом вихре русской жизни...

Вокруг Хазанова группировались остальные «буревестниковцы»: энергичный и властный Ефрем-Кардаш, считавшийся среди анархистов теоретиком и писателем, позже умерший от чахотки; рабочий Ваня Посух; заводской паровик — скандалист Маркин и др.

К ним примыкал еще один интересный человек, — матрос-черноморец, уже однажды приговоренный к

смертной казни и бежавший из тюрьмы. Он сидел под именем Леонида Иванова, а кличка его была «Богородица» — слово, которое он поминутно употреблял в разговоре. Он напоминал огромного зверя, засаженного в клетку и мечущегося взад и вперед, пробующего железные прутья и замки, ищущего лазейку, через которую можно было бы вырваться на свободу. Это был боевик, насквозь пропитанный порохом, но в сношениях с товарищами он отличался добродушием и уступчивостью.

Кроме с.-д., с.-р. и анархистов, были в 12-ой камере и беспартийные: сельские учителя, рабочие, арестованные в декабре 1905 года за участие в восстании, солдаты.

Были в камере и люди, не имевшие никакого отношения к политике. Помню встрепанную фигуру в длинном сюртуке, — спившийся подпольный «аблакат». Он уверял, что его посадили в тюрьму сенаторы, так как он раскрыл про них такие дела, что им деваться было некуда: или должны были его арестовать, или сенат распустить и всех сенаторов — на каторгу. Рассказ о своем деле он кончал многозначительно:

— Мир стоит на пороге великих событий.

При мне привели в нашу камеру двух евреев. Один из них, старик с интеллигентным лицом, долго озирался по сторонам, стараясь сообразить, что за люди окружают его. Наш староста подошел к нему с обычным вопросом:

— Вы по политическому делу?

Но старик еще не решил, выгоднее ли ему быть политическим или уголовным, и отвечал уклончиво:

— Немножко по политике, немножко не по политике... Что значит, по политике?...

— Значит, вы по уголовной статье?

— Зачем же сейчас по уголовной? Я сказал: немножко по политике...

Прибывших приняли в «коммуну». Но затем спутник старика рассказал, что они вдвоем обходили богатых евреев с подложными удостоверениями, собирая деньги якобы для

жертв погромов. Камерное собрание решило, что в политической камере им не место. В тот же вечер, во время проверки, их выгнали из камеры на коридор.

Но и без них не мало осталось у нас людей, сидевших «немножко по политике, немножко не по политике».

Режим в тюрьме был сравнительно легкий. Можно было подходить к окну, переговариваться с гуляющими во дворе. Из камеры в камеру передавались записки, книги, табак. Была нелегальная переписка с волей. Изредка получались газеты. В политических камерах происходили групповые занятия, рефераты. Однажды устроили даже — не помню, по какому поводу — литературно-музыкальный вечер с любительским спектаклем: поставили сочиненный в камере фарс «Жених-экспроприатор», декламировали стихи, пели хором, а один искусник смастерил музыкальный инструмент из стаканов с водой и деревянных ложек.

И все же беспокойно было в тюрьме. Чувствовалась нарастающая со дня на день тревога.

Среди заключенных начинался тиф. Через старосту мы предъявили начальнику тюрьмы требование о переводе заболевших в городской тифозный барак. Начальник ответил, что это от него не зависит.

Двое или трое из заболевших умерли. Пошли разговоры о том, что необходимо чем нибудь поддержать требование о переводе больных. Эсдеки и эсэры стояли за голодовку. Анархисты отстаивали обструкцию.

Я сперва колебался, затем присоединился к предложению анархистов. Исходил я из того, что к обструкции можно было привлечь всю тюрьму, а голодовку пришлось бы проводить исключительно политическим, да и то, быть может, не всем. Да и не верил я в возможность упорной

голодовки в нашей разношерстной общей камере. А обструкция?.. Здесь был риск: могло кончиться плохо, но могло и удасться, — следовало попробовать.

После долгих переговоров с партийными товарищами и эсэрами, удалось склонить их в пользу этого плана.

Сговорились с другими камерами и через Цукерина передали тюремной администрации ультиматум:

— Требуем к 12 часам в тюрьму прокурора.

В назначенный час прокурор не явился, и заключенные принялись вызывать его криком и стуком.

Часам к 5 прокурор приехал в тюрьму. Узнав, в чем дело, он отказался пройти в «зараженные» камеры и приказал начальнику удовлетворить требование заключенных.

Вечером, действительно, часть больных была отправлена в барак.

Эта обструкция, увенчавшаяся столь быстрой и полной победой, подбодрила и сплотила тюрьму. Но отношения с администрацией после этого испортились: и начальник, и его помощники, и, больше всех, старший надзиратель Белокоз злились на заключенных, особенно, на политических.

Белокоз прямо говорил:

— Это вам так не пройдет! Вы думаете, так оно и кончилось? Ан оно еще и не начиналось...

Но никто не придавал значения его угрозам.

* * *

С первого дня заключения я не переставал думать о побеге. Это была для меня в то время своего рода навязчивая идея.

Мне казалось, что революционер не имеет права добровольно отказываться от борьбы за свою свободу, что попав в тюрьму, он обязан пытаться бежать.

Заговорил как то об этом с Абрамчуком. Тот весь загорелся и стал горячо доказывать, что для революционера

бесчестие отдаться в руки полиции без вооруженного сопротивления. Это шло дальше моего взгляда на дело. Но все же у нас с Павлом оказалась новая почва для сближения, — мы стали вместе искать способа, чтобы вырваться из тюрьмы.

Думали о подкопе. Но тюрьма стояла на каменистом грунте и была со всех сторон окружена широким двором. Выйти из нее путем подкопа не было возможности...

Не помню точно, кто из товарищей — кажется, наш староста Цукерин, — подал мне мысль о возможности бежать из городского тифозного барака. Караул там слабый, — всего четыре надзирателя: один сидит у дверей, один бродит под окнами, тогда как два другие либо спят в «караулке», либо уходят в город. Объясняется слабость охраны тем, что в барак перевозят из тюрьмы лишь тяжело больных, без памяти; а выздоравливающих, только начнут они подыматься на ноги, отправляют обратно в тюрьму...

Намечались два плана: либо заразиться тифом и устроить насильственный увоз из барака; либо добиться перевода в барак, не будучи больным, и бежать самому. Я остановился на втором плане, на симуляции тифа.

Цукерин достал из тюремной аптеки учебник по патологии, и я принялся изучать признаки сыпного тифа: характерная кривая температуры, розеола, увеличение селезенки... Как воспроизвести эти симптомы?

Обратился к нашему военному фельдшеру. Дувин оказался специалистом по симуляциям всякого рода. От него я узнал, что сыпь, почти не отличающаяся от тифозных розеол, можно вызвать, приняв сильную дозу брома. Труднее воспроизвести типичное для тифа лихорадочное состояние, но имеются средства и для этого. И фельдшер рассказал мне о тех приемах, к которым прибегают солдаты, чтобы избавиться от службы, — раствор купороса, настой махорки, — варварские приемы, разрушающие здоровье, навсегда превращающие человека в калеку.

— Это не подходит, решил я.

Дувин обещал подумать, подыскать какоенибудь не столь разрушительное средство.

Помнится, написали на волю доктору Винокурову, прося и его совета...

Был уже конец марта, когда я получил с воли чудодейственное средство, — соединение эпикукуана с кокаином. Эта микстура должна была вызвать отравление, признаки которого давали картину, весьма близкую к тифу. Но при таком отравлении могли появиться и другие симптомы, которых не бывает при тифе. Чтобы обезопасить себя с этой стороны, я достал из аптеки книгу о действии различных ядов. Отыскал главу о кокаине. Первый признак отравления — расширение зрачков. По этому признаку врач мог бы раскрыть симуляцию. Но тот же признак сопровождает ряд других отравлений. Я решил, что в тюремной больнице не дам врачу смотреть мне зрачок, а в бараке объясню, что в тюрьме, мол, мне впрыскивали в глаза атропин.

Дувин показал мне, как «подбивать» до желательной температуры термометр, постукивая ногтем по его головке, и как вызывать учащение пульса, задерживая дыхание. После двух-трех дней упражнения я мог доводить пульс до любого числа ударов в минуту. Заучил, сколько ударов должно соответствовать определенному показанию температурного листа.

Сообщил о своем плане Абрамчуку. Он слушал меня молча, в явном смущении. Наконец, сказал:

— Я рад за вас... Но теперь мне придется отказаться...

— Отказаться от чего?...

— Я тоже готовил побег этим путем. Но немного иначе. За деньги через тюремного фельдшера... Ну, что же? Я пойду позже, с другими.

И он рассказал мне, что с воли готовится массовое освобождение сидящих в тюрьме анархистов. Павел

должен был бежать через тифозный барак, чтобы принять руководство предприятием.

Я предложил ему воспользоваться для побега моим путем. Но Павел на это не соглашался, — хотя с моей стороны жертва была невелика. Решили, что мы пойдем оба. Я предпринимаю попытку первым, но в бараке буду ждать. За мной следом постарается перевестись в барак Павел. Если ему не удастся, пойдет кто-нибудь из его друзей анархистов. Из барака бежим вдвоем, — в случае надобности, нам помогут боевики с воли.

Утром я должен был «заболеть». С вечера принял бром, а затем столовую ложку приготовленного для симуляции раствора. Ходил взад и вперед по камере, ожидая, когда скажется действие лекарства. Считал удары пульсы. Но пульс бился ровно и редко.

Дувин, не ложившийся спать в эту ночь, решил, что доза, указанная врачом, недостаточна.

— Они всегда по каплям считают, заметил он: Всякое лекарство надо брать вдвое или втрое против докторского рецепта.

Он налил мне большую деревянную ложку микстуры. Я выпил и снова принялся ходить по камере. Голова кружилась, но пульс не учащался.

Между тем, небо в квадратах оконных решеток начинало светлеть.

Я обратился к Дувину:

— Дайте еще!

Тот протянул мне бутылку. Я сделал два-три больших глотка прямо из горлышка.

— Что вы? Это яд!

Фельдшер вырвал у меня из рук наполовину пустую бутылку.

Я снова ходил взад и вперед. Но с каждым шагом тяжелее становились ноги, начали стучать зубы, кровь билась в висках.

С трудом добравшись до своего места на нарах, я лег, укрылся одеялом и пальто, но чувствовал, что весь коченею.

Руки и ноги уже не повиновались мне. Какой то особый жуткий холод шел от кончиков пальцев и медленно подымался к коленам, к локтям и дальше, захватывая все тело. Я лишился сознания...

С температурой выше 40 градусов меня перенесли в тюремную больницу. Тюремный фельдшер сразу определил сыпной тиф. После обеда в палату пришел врач. Он никогда не прикасался к заразным, всегда осматривал их издали, стоя в трех шагах от кровати. Так осмотрел он и меня. Осмотрев, приказал фельдшеру:

— До завтра. Если температура не спадет, лист приготуйте.

«Лист» — это свидетельство на отправку в барак.

Вечером Дувин дал мне еще ложку эпикукуана с коканном. Утром и температура, и пульс были как раз такие, как это «требовалось наукой».

После 12 часов меня вынесли на носилках под тюремные ворота. Белокоз, подозрительно оглядев меня, приказал привратнику:

— Пропусти!

Двое солдат конвойной команды подняли меня с носилок на извожничью пролетку. Один из них сел рядом со мной, другой поместился на переднем сидении, и пролетка задрезжалась по мостовой.

Тифозные бараки помещались на краю города. Ехали долго. Помню, в воздухе чувствовалась весна; зеленющие почки, как легким облаком, окутывали деревья. На душе было радостно и спокойно: я так был уверен в успехе! Вот и бараки.

Длинные бревенчатые строения. Легкий заборчик. Огромные окна без решеток. В палисаднике под окнами ни души, — часовой, верно, отлучился куда-нибудь...

Конвойные слезли. Зовут меня:

— Сходи, что ли?

Но я твердо помню, что я тяжело больной, и валюсь бессильно на сиденье, предоставляя солдатам нести меня на руках.

Поверхностный фельдшерский осмотр на коридоре. «Рсзеооды» разрешили все сомнения. После ванны меня поместили в палату № 1-ый.

Часа через три появился старший врач, грузный старик в белом халате. Он долго и тщательно осматривал, ощупывал меня, ласково спрашивал, как началась болезнь. Окончив осмотр, старик осторожно снял у меня очки и приподнял пальцем веко. Я успел пробормотать:

— Атропин...

— Я так и думал, сказал врач.

Обернулся к фельдшеру и распорядился:

— Запишите: «тиф неопределенный».

И уходя, ласково сказал мне:

— Ну, поправляйтесь, поправляйтесь!

Я не знаю имени старого врача и вообще ничего не знаю о нем. Но у меня осталось смутное ощущение, что он разгадал, что за тиф у меня, и сразу решил не выдавать арестанта...

Я остался в палате «тяжелых».

Восемь коек, по четыре с каждой стороны. Моя койка была крайняя у окна. Налево от меня стоял крошечный больничный столик. Дальше лежал молодой парень с пергаментно желтым лицом. Он бредил без умолку, повторяя все одни и те же польские слова.

У противоположной стены один больной лежал неподвижно, другой громко стонал, хрипел, вскрикивал. Изредка показывался в дверях надзиратель в полной форме, при оружии. Не видно было, что заглядывает он в нашу

палату не для контроля, а потому, что на коридоре ему некуда деваться от скуки.

Я был голоден. Но тифозным в палате № 1-ый обеда не полагалось.

Подшла к постели сестра милосердия. Я попросил ее дать мне поесть. Она принесла крошечный графинчик вина и яйцо всмятку. Попросил хлеба, но сестра отрицательно покачала головой. Проглотил яйцо, — голод не уменьшился. Попросил еще, — сестра опять покачала головой и занялась моим соседом-поляком.

Я обдумывал положение: Подвергать себя голодовке не входило в мои планы. Я должен был беречь силы...

Когда сестра уходила, я сказал ей, указывая на соседнюю койку:

— И ему бы яичко...

— Да он не в памяти.

— Только что был в памяти, просил.

— А как же он есть будет?

— Я помогу с ложечки.

Сестра принесла еще одно яйцо.

В последующие дни я продолжал пользоваться этим приемом: с'едал порцию не только моего безответного соседа, но и других больных, которые уже не нуждались ни в пище, ни в питье.

Человек, лежавший на койке против меня, сам предложил:

— Бери, товарищ, и мое, — авось, тебе в пользу пойдет, а мне, все едино, помирать.

Он, действительно, вскоре умер.

Затих, не приходя в себя, и парень-поляк.

Ночью в палате было ужасно, — крики, стоны. Каждую ночь умирая кто-нибудь. Утром приходили санитары с длинным деревянным шестом. Разложат на полу три полотенца, на них опустят покойника, на мертвое тело положат шест, так чтобы один конец его торчал над головой, а другой выступал за сложенные ступни ног. Свяжут

концы полотенца поверх шеста, вскинут шест на плечи, — и покойник повиснет на нем, как спеленутый ребенок.

Я лежал, полузакрыв глаза, выдерживая роль тяжелого больного. Ждал Павла. Но никого не привозили из тюрьмы, и не было оттуда никаких вестей.

Действие эпидемии с кокаином давно прекратилось. Температура у меня была нормальная. Но я «настукивал» термометр, и кривая на температурном листе над моим изголовьем развивалась по всем правилам: вечером на 5—6 десятых выше, чем утром, с падением после перевода в барак, с последующей тенденцией к повышению по мере приближения «кризиса». Так же плясала и кривая пульса. Но силы с каждым днем убывали.

На пятый день — помню, это было в пятницу на страстной неделе — перед обедом ко мне подошел надзиратель и, тронув меня за плечо, сказал:

— Ты, что ли, Александров будешь? Так к тебе приятель пришел, во дворе стоит... Ты подняться можешь?.. До окна дойдешь?..

Я поднялся с постели. На этот раз мне не пришлось симулировать, так ослабел я за эти дни. Подошел к окну. На дворе стоял Исаак с мельницы.

Он передал мне: из тюрьмы справляются, в бараке лежат, просят меня подождать еще.

Я просил дать знать товарищам, что дольше ждать я не в силах и, если дело затянется, то я буду просить врача об обратном переводе в тюрьму. Исаак обещал еще до вечера передать в тюрьму мои слова и, не позже, чем завтра утром, сообщить мне ответ.

Я вернулся на свое место в крайнем раздражении против товарищей. В первые дни я мог уйти из барака без всякого труда. Теперь это становилось значительно сложнее. Пятые сутки без сна, почти без пищи, среди умирающих, при непрерывном напряжении нервов... Я уже сам не знал, здоров я, или болен, симулирую тиф, или, действительно, заразился... А заразиться и умереть в

бараке — это было бы слишком глупо... С другой стороны, мне и в голову не приходило идти, не дождавись Павла или кого либо из его товарищей. Но меня возмущало, что товарищи в тюрьме, как будто, забыли обо мне.

Этот день и следовавшая за ним ночь показались мне особенно тяжелыми. Утром Исаак не пришел. Я готов был грызть подушку от бессильной досады. Под вечер надзиратель окликнул меня:

— К тебе, Александров, опять пришли... До окна доплзешь?

Во дворе был Исаак. Он спросил надзирателя:

— Господин дядька, курить больным разрешается?

Тот пожал плечами:

— По мне что? Пущай курят, когда дохтура нету.

Тогда Исаак передал мне в форточку папироску, которую сам держал в зубах:

— Пока хоть эту покури!

А когда надзиратель отошел от окна, он быстро сказал мне:

— Завтра после полуночи будем ждать у ворот с мешками:

Вернувшись на свою койку, я развернул мундштук папиросы и на внутренней бумажке его прочел:

«Больше не будет, идите один».

Итак, товарищам не удалась симуляция, или у них явились новые планы.

Я соображал. Завтра воскресенье. Надзиратели, наверно, напьются. Часового в саду не будет, можно будет вылезть в окно... А может быть, и на коридоре будет пусто, — тогда через дверь. Но нельзя идти через бесконечный двор в одном белье. Нужно добыть одежду.

В ногах у меня лежал длиннейший больничный халат. Из него можно было бы сделать подобие мужицкого армяка, — нужно было только укоротить его, убавить рукава, перехватить в поясе. Но под рукой не было ни иголки, ни ножниц.

На подоконнике между раздвижными рамами валялись осколки стекла. Попробовал их на поле халата. Оказалось, что стекло режет сукно, как нож.

Ночью принялся за работу. Приспособил армяк; из суконного одеяла соорудил подобие брюк, скрепляя швы бичевкой; устроил и шапку, скрепив ее вынутым из стены гвоздем.

Теперь важнее всего было соснуть, хоть на полчаса. Но заснуть не удавалось.

За ночь опять в нашей палате умер один. На рассвете пришли санитары с шестом. Полотенца у них оказались слишком короткие. Они никак не могли увязать покойника и долго возились, ворча:

— Откуда они, там, в тюрьме, таких здоровых берут, — что ни больной, то пять пудов.

Днем барак обходило какое то начальство. Мелькнул в дверях священник с крестом. Пели «Христос воскрес».

После обеда на коридоре появилась гармошка. Били ладоши, стучали каблучки, гремели половицы.

Надзиратель прикрыл дверь нашей палаты, — чтобы шум пляски не тревожил больных. Я понял, что разгулялась наша стража.

Выглянул в окно: часового в саду нет. Видно, и он у гармоники.

Перед ужином два надзирателя подрались. Их насилу разняли.

Сестра милосердия зашла к нам в палату красная, сердитая. Я спросил ее:

— Что там, сестрица?

— Разбойники безобразят, ответила она: Один другому нос укусил, чуть не отхватил с хрящем.

Все шло, как нельзя лучше.

Снова заливается гармоника на коридоре, гремят доски пола. Затягивают хоровую песню... Считаю голоса... Там не только все четыре надзирателя, но и какие то посторонние...

Наконец, стихает веселье.

Уже 12 часов. Но теперь под окном маячит часовой. Приходится ждать.

Выглянул в дверь. Надзиратель лежит на лавке, спит глубоким сном. Я вернулся к постели, натянул брюки, одел армяк, шапку. Но руки, как не мои, ноги не слушаются... Хватит ли сил дойти до ворот?

Выхожу в коридор. Надзиратель хранит у самой выходной двери. Как бы скрип блока не разбудил его?... Вернее — идти через соседнее отделение, где лежат вольные больные, — там выходная дверь не охраняется никем.

Держась рукой за стену, я прошел неслышно мимо спящего надзирателя, вышел из арестантского отделения и уже взялся за ручку наружной двери, как вдруг почувствовал, что кто-то схватил меня за плечо. Обернулся, — передо мной малый в фельдшерском халате. Обими руками он впился в мой армяк. Он пьян вдребезг и лепечет что-то о докторе и о том, что ночью полагается спать. Пытаюсь стряхнуть его руки, но нет сил.

С каждой минутой он становится шумливее.

— Молчите! Пустите меня! вырываюсь я...

Но уже проснулся надзиратель... На коридоре тревога...

Со стесненным сердцем, ничего не видя перед собой, я возвращаюсь в палату.

Надзиратель вдруг протрезвел. С револьвером в руке он стоит передо мной, ругается, грозит. Я не слышу его выкриков. Наконец, разобрал:

— Застрелю на месте!

А за спиной надзирателя, в дверях, жмутся перепуганные сестры и санитары, сбежавшие из соседних барак. Овладев собой, я сказал надзирателю:

— Спрячь револьвер! Ты бы тогда стрелял, когда я в дверях был. А теперь, если еще хоть слово скажешь, — завтра доложу начальнику, что у тебя, пьяного, арестант чуть не убежал. Понял?

Угроза подействовала. Надзиратель спрятал револьвер и стал упрашивать плаксиво:

— Вы уже начальнику не говорите... Семья у меня...

Утром приехал в барак начальник тюрьмы Фетисов¹⁾ в сопровождении надзирателей. Выслушав доклад о ночном происшествии, он распорядился перевести меня обратно в тюрьму и заковать, а стоимость больничного халата и одежды удержать из моих денег.

Два часа спустя я был снова в тюрьме. Под воротами встретил меня Белокоз и бросил:

— Рано вернулись. Я тогда еще, как выносили, заметил, что не просто это с вами.

Поместили меня в тюремной больнице. Заковку отложили до выздоровления.

* * *

В тюрьме я узнал, почему мне пришлось так долго ждать в бараке вестей от товарищей.

Павлу не удалась симуляция: эпилептикуан вызвал у него неукротимую рвоту. Пытался воспользоваться расстройством один из его товарищей, — и тоже без результата. Неудачей окончилась и попытка действовать через тюремного фельдшера Пушкина: врач заметил обман.

Моя симуляция осталась нераскрытой: администрация считала, что я, действительно, был болен, но перенес кризис в первые дни после перевода в барак и пытался бежать, уже будучи выздоравливающим.

В тюремной больнице меня поместили в камеру горячих. Здесь, среди других больных, я застал Каффи, заболевшего в то время, когда я был в бараке. Определить его болезнь врач не мог. Повидному, это была нервная

¹⁾ Впоследствии провинился и покончил с собой самоубийством, повесился.

горячка с какими то осложнениями. Опасались за его жизнь. Он очень мучился, часто впадал в беспамятство. Я принялся ухаживать за ним и постепенно превратился в «брата милосердия» при горячечных больных: подавал им воду и лекарство, менял лёд на голове и т. д.

Всего труднее было колоть лёд. В камеру лёд доставлялся глыбой, в большой деревянной кадучке, а колоть его приходилось эмалированной кружкой. В результате — ободранные, израненные руки. Но и помимо этого, бессмен, но ходить за больными было не легко.

Я не раздевался на ночь, спал урывками. Порой по 2 — 3 ночи подряд не смыкал глаз.

Дней через пять после моего возвращения из барака пришел в камеру горячечных Хазанов, — его пропустили в больницу навестить товарищей. Он отвел меня к окну, где никто не мог нас слышать, и сказал:

— Вы из за нас не ушли из барака. Хотите теперь идти на свободу вместе с нами?

И он посвятил меня в подробности подготовляемого с-воли нападения на тюрьму, о котором мельком говорил мне еще до моего перевода в тифозный барак.

Не буду передавать здесь подробности этого дела, — может быть, я вернусь еще к нему в другом месте.

Скажу только, что предприятие велось широко.

Подготавлился взрыв тюремной стены; в момент взрыва заключенные анархисты должны были напасть на стражу, обезоружить и связать надзирателей, отобрать у них ключи, отпереть камеры. Одновременно, на воле, в различных частях города, должны были разорваться бомбы. Отряды бомбометателей должны были стоять на пути между казармой и тюрьмой, готовые пустить в ход снаряды, если солдаты будут двинуты в погоню за бежавшими арестантами...

Развивая этот план, Павел подчеркивал одну особенность его: боевые действия должны разыграться вне стен тюрьмы, так что опасности подвергаются лишь

прямые участники предприятия. Он сослался также на то, что с-воли ведут дело товарищи, которым удалось уже посредством взрыва освободить одну тюрьму (кажется, симферопольскую).

С моей стороны было безумием вступать в это дело, задуманное людьми, которым нечего было терять. Но предприятие анархистов подкупило меня своим боевым, революционным романтизмом. К тому же, как всякий узник, которому не удалась попытка побега, я склонен был ухватиться за любой новый план освобождения. А наконец, мне было тогда 22 года, и в этом возрасте стремление к действию сильнее, чем рефлексия.

Я, не колеблясь, заявил Павлу, что готов участвовать в деле, и принял на себя поручение: получать оружие, которое должен был доставлять в тюрьму фельдшер Пушкин. Предполагалось, что он принесет девять револьверов, сотни две патронов, несколько фунтов динамиту и пироксилину и еще другие материалы.

Вечером фельдшер пришел в камеру и решительными шагами направился в угол, где лежал Каффи. Остановившись в проходе между его кроватью и моею, он тихо сказал мне:

— Подойдите ближе!

Затем принялся выслушивать и выстукивать больного.

Когда надзиратель, позвякивавший ключами в открытых дверях, обернулся к нам спиной, я тронул фельдшера за локоть:

— Где?

Тот ответил скороговоркой:

— В левом наружном кармане.

Я опустил руку в его карман, нащупал тяжелый металлический предмет и быстрым движением переложил его себе под подушку.

Ночью я осмотрел полученный предмет: это был черный вороненый пистолет с двойным дулом, похожий на браунинг, но другой, незнакомой мне системы.

С этого вечера Пушкин каждый день приносил что нибудь, — либо пачку динамита в длинных палочках, похожих на свечи, либо пакет пироксилиновых шашек. Утром в камеру заходил Павел, и я сдавал ему полученное накануне.

Павел был молчалив и чем-то подавлен. О подготовленном освобождении он не говорил. Раз я спросил его, как идет дело. Он ответил:

— Там, — он указал глазами на окно, на волю, — там все идет хорошо, а здесь очень плохо. Может быть, не следовало начинать, лучше было ждать смерти.

Расспрашивать его я не стал.

26-го апреля — я хорошо запомнил этот день — в тюрьме был обыск по предписанию охранного отделения, получившего сведения, что у арестантов имеется оружие, приготовленное для побега. Обыск продолжался с утра до вечера. Перерыли все, разбирали нары, тяжелыми ломami выстукивали полы и стены.

Начали с дальних коридоров и постепенно приближались к больнице.

У меня в подушке лежал полученный накануне динамит. Каффи, с большой тревогой следивший за моим участием в предприятии анархистов, советовал мне отделаться от пакета, выбросив его в ушат для нечистот в уборной. Но я не решался.

Выручил меня старик-аграрник Нестеренко. Он не знал, что именно получаю я от фельдшера, но догадался, что через него я веду нелегальные сношения с волей, — что-то отправляю, получаю, передаю. Старик смекнул также, что именно в подушке хранится у меня нелегальщина, — может быть, запрещенные книжки, может быть, письма, а может быть, и бутылка водки.

Он подошел ко мне и тихо спросил:

— У вас что нибудь есть в подушке?

— Есть.

— Поменяемся?

— Хорошо. Если найдут, я скажу, что подушка моя.

— У меня не найдут...

Четверть часа спустя в камеру явилась толпа надзирателей с Белокозом во главе. Направились прямо к моей койке. Вспороли матрас и подушку, перетряхивали каждую соломинку, ощупывали каждый шов белья. Другие койки обыскивали менее тщательно.

Нестеренко, между тем, готовился. Положил посередине койки подушку, на нее постлал цветной платок, на платок выложил пару портянок, и еще какие-то тряпицы, а поверх всего положил свою шапку, высыпав на нее табак и спички, — нате, мол, вот все мое имущество, ничего от начальства не прячу!

Белокоз потрогал табак и бросил сквозь зубы:

— Забирай свое барахло!

Обыск не дал результатов, — в тюрьме не нашли ничего.

* * *

На другой день пришел Павел. На нем лица не было. Я рассказал ему, как удалось сохранить динамит. Он слушал сумрачно, безучастно. Когда я кончил, он сказал:

— Дело, все равно, погибло.

И он передал мне о том, что происходило за последние дни в тюрьме.

Предприятие, начатое анархистами, неожиданно столкнулось со сходным делом, задуманным 10-ой камерой. Это была камера уголовно-политических, дела которых были назначены к слушанию в ближайшей сессии военно-окружного суда. Здесь помещалось 22 человека, все со смертными статьями. Они тоже задумали бежать при посредстве взрыва тюремной стены. И уже успели добыть с воли небольшое количество динамита, когда узнали о приготовлениях анархистов.

Попытались объединить обе попытки. Но выяснилось, что это невозможно: сессия военного суда начиналась

30-го апреля, в этот день следовало ожидать первых смертных приговоров и перевода осужденных из 10-ой камеры в подземные секретки; поэтому уголовно-политические хотели предпринять попытку побега никак не позже 29-го; а анархисты не могли закончить свои приготовления раньше 10—15 мая и считали недопустимым «давать бой», не обеспечив все шансы победы, и подвергать тюрьму смертельному риску в случае, если взрыв стены не удастся.

Переговоры между обеими группами не привели ни к чему, и 10-ая камера предъявила анархистам ультиматум:

— Передайте нам ваше оружие! Если не передадите, мы на ура пойдем с тем, что у нас есть. Не хватит заряда для взрыва, — тем хуже: нас перебьют, но и ваше дело провалится.

Это было трагическое столкновение людей, у которых всех-впереди была виселица, но из числа которых одни еще могли ждать, взвешивать свои поступки, оценивать обстановку, а другие ждать не могли...

Среди анархистов требование 10-ой камеры вызвало возмущение. Большинство склонно было отказать наотрез. Но Павел восстал против такого решения.

29-го, говорил он, они пойдут на верную гибель. Стены они не взорвут. Их будут расстреливать на наших глазах, в то время, как мы будем хранить имеющееся у нас оружие для будущего деда...

А кроме того: при неудачной попытке взрыва стены, если участники покушения останутся внутри тюремной ограды, месть администрации обрушится на всю тюрьму; единственное средство предотвратить бойню — это увеличить силу взрыва и опрокинуть стену. Исходя из соображений, Павел настоял на том, чтобы все полученные с воли материалы были переданы в 10-ую камеру. С этим решением он и пришел ко мне.

Он спрашивал меня, считаю ли я это решение правильным. Я не знал, что ответить, так как не чувствовал себя

в праве быть судьей в споре, где все, кроме меня, были, так или иначе, обречены смерти...

Под вечер пришел Пушкин, принес сверточек проксилиновых шашек и каких-то еще принадлежностей для бомб. 28-го фельдшер дважды забежал в камеру и передал мне второй револьвер, четыре запасных обоймы с патронами и еще палочку динамита.

10-ая камера помещалась прямо над палатой горячекных. Из окна в окно передавались посредством «воздушного телефона» записки, табак, а иногда и полученные с воли «гостинцы», — колбаса, сало.

Поздно вечером сверху пришла записка за подписью Леонида Иванова, до этого я не знал, что он в 10-ой камере. Он просил немедленно отправить наверх по «воздушному телефону» все «обещанное Павлом».

Я отправил ему бывшее у меня оружие.

* * *

29-го апреля я с утра стоял у окна. В этот день заключенных выводили в баню, помещавшуюся у передней стены тюремной ограды, рядом с конторой. Я думал, что 10-ая камера воспользуется этим моментом для устройства взрыва...

Около 8 часов утра, вскоре после раздачи по камерам кипятку, уголовно-политических провели в баню. Среди них я заметил Леонида Иванова, Грибова («Крамольника»), анархиста Якова Нагорного, социалиста-революционера Алексея Дубинина...

Через полчаса их провели обратно в корпус.

На дворе шла обычная прогулка заключенных. Гуляли внутри проволочных загоронок у противоположных стен, слева и справа от тюрьмы.

Перед обедом вывели на прогулку 12-ую (политическую) камеру. Несколько минут спустя, в противоположную загородку (у левой стены) вывели уголовно-политических:

Некоторые из них несли соломенные матрасы. В этом не было ничего подозрительного: матрасы полагалось перетряхивать время от времени во дворе, и естественно было, что арестанты решили заняться этим в банный день.

Не отрываясь от решетки окна, я следил за прогулкой. Выбивали матрасы. Потом сложили их один на другой у стены, в конце загородки. Арестанты отошли на противоположный конец отведенного для прогулки пространства. Делают гимнастику, приседают по солдатеки, изображая «гусиный шаг». У матрасов остался один Леонид Иванов. В руках у него большой жестяной чайник. Он ставит его на матрасы, а сам отходит на несколько шагов, закуривая папиросу. Но ветер задувает спичку. Иванов подходит к стене, наклоняется над матрасами... Затем быстро отходит в дальний конец загородки, туда, где занимают «гусиным шагом» его товарищи...

В этот момент здание тюрьмы потряс оглушительный взрыв. Двор наполнился густым дымом, сквозь серую пелену его метнулись языки пламени. Со звоном сыпались оконные стекла. Горячая волна воздуха отбросила меня от окна. На внутренних коридорах тюрьмы хлопали двери, бухали выстрелы, раздавались крики...

Внезапно все стихло.

Я выглянул в окно. В левой загородке не было ни души, валялись на земле обгорелые лоскутья от матрасных мешков. Искал глазами пролома в стене, но пролома не было видно. Случилось то, чего опасались анархисты, отказываясь предпринимать попытку раньше, чем будут закончены все приготовления, — сила снаряда оказалась недостаточна.

В правой загородке, где гуляла 12-ая камера, лежали на земле людские фигуры: заключенные прилегли в момент взрыва. Спустя минуту они начали подыматься один за другим. Надзиратели и часовые скрылись куда то.

Но вот послышались выстрелы, сперва редкие, потом все чаще и чаще. Это надзиратели из под ворот обстрели-

вали тюрьму. И отвечая им, те из надзирателей, которых взрыв застал на коридорах корпуса, стали сквозь прозорки стрелять в камеры по обезумевшим от страха, беззащитным арестантам.

В это время на дворе показался Леонид Иванов. Он шел медленно, слегка раскачиваясь, держа револьвер в вытянутой руке. Остановился около старого развесистого дерева, росшего одиноко посреди двора, между тюремной конторой и главным корпусом.

Открылась калитка в воротах, и надзиратели бросились гурьбой во двор с берданками на перевес. Иванов сделал шаг навстречу им и выстрелил. Надзиратели метнулись назад и из за тяжелых, обитых железом ворот продолжали стрелять, целясь в стоявшего между ними и тюрьмой человека.

Несколько минут продолжалась неравная борьба. Иванов медленно ходил взад и вперед, порой припадая на одно колено, порой пользуясь для прикрытия стволом старого дерева. Он был ранен, но продолжал стрелять. Я видел, как, прислонившись к дереву, он переменил обойму в револьвере. Но вот, он свалился, пораженный на смерть. Тогда двор наполнился надзирателями. Началась расправа над безоружными людьми, не принимавшими никакого участия в попытке взрыва стены.

Слышался голос Белокоза:

— Бей всех до последнего! Бей политику!

Стреляли по прогулке 12-ой камеры: Цукерин, поднявшись с земли, крикнул Белокозу:

— Не стреляйте! Отсюда никто не пытался бежать...

Вместо ответа старший приказал одному из надзирателей:

— Сними мне этого жидка!

И Цукерин упал убитый.

Во двор тюрьмы ввели две роты солдат. Их выстроили около конторы. Но они не принимали участия в бойне. Стреляли только надзиратели.